



Mikhail Shishkin was born in 1961 and grew up in Moscow. Following his graduation in 1982, Shishkin worked as a journalist and as a teacher of English and German. In 1995 he moved to Switzerland and he lives in Zürich to this day.

1993 saw Shishkin's highly praised writing debut *Урок Каллиграфии* (*Calligraphy Lesson*). This work, steeped in Russian atmospherics, is highly allusive and plays with the very idea of words; their purpose, effect and formulation.

Since his debut, Shishkin has published three novels. *Взятие Измаила* (*Seizure of Ismael*) won the 2000 Booker Prize and *Венерин Волос* (*Venus Hair*) won the National Bestseller Prize in 2005 and the Russian 'Big Book' Prize in 2006.

In Switzerland, Shishkin worked as an interpreter for the Swiss authorities, interviewing asylum seekers – a profession which yields stories and descriptions that appear in his writing.

Buoyed by Shishkin's sophisticated language and phrases of unique melody, predictable comparisons have been made to that other writer of extraordinary linguistic versatility, Vladimir Nabokov. Though he understands himself as within a tradition of Russian writers in exile, for Shishkin, the question 'to return or not to return to Russia' simply does not exist. He thinks that 'for a better understanding of the self one should live everywhere'.

Text 2: Письмовник (отрывок)

Сашенька, я ведь тебе это не рассказывал.

Когда с ним случился припадок на уроке, я бросился к нему, нашему Тювику, чтобы его спасти, но никак не мог найти эти таблетки. А когда ему дали лекарство, было уже поздно. Я знаю, что в этом нет моей вины, но все равно до сих пор должен заново себе это объяснять.

Ты знаешь, я его очень любил, и обижался, когда его называли Тювиком. И любил на переменках забежать к нему по какому-нибудь пустяшному делу, просто очень нравились все эти стеклянные ящики с бабочками, старые шкафы с натуралиями, наполненные огромными страусовыми яйцами, морскими звездами, чучелами.

Запомнилось, как на урок ботаники он принес восковые муляжи яблок всяких сортов в коробках, обложенных ватой. Так нестерпимо захотелось надкусить – настолько они были красивыми, сочными, настоящими!

Летом он задал задание собирать гербарии – как я старался! Но больше, чем рвать растения по оврагам и засушивать их в томах Брокгауза, мне нравилось потом подписывать аккуратным почерком: «Одуванчик, *Taraxacum*» или «Подорожник, *Plantago*». Казалось удивительным, что обыкновенный подорожник может быть таким важным и красивым словом – плантаго. Похоже, слова меня завораживали больше, чем сами высушенные скучные листочки.

Когда Виктор Сергеевич стал преподавать зоологию, я стал, как мне думалось, всерьез увлекаться орнитологией и, даже за обедом, кушая куриный окорочок, складывал обглоданные косточки вместе, проверяя, как работает сустав: какую функцию выполняет эта косточка или тот хрящик.

Вообще, честно говоря, не знаю, любил ли я все это до него – растения, птиц. Мне кажется, я вовсе не обращал на это внимание. А полюбил всю эту живность его любовью.

Или чтобы он обратил внимание на мои старания, похвалил меня?

Хотя и до гимназии были какие-то случаи моей любви к пернатым – помню, на даче я нашел на березе в гнезде трех галчат, залезал туда несколько раз в день и сбрасывал в их глотки кусочки котлет, а воду заливал из старого наперстка, выпрошенного у бабушки.

Но настоящую проверку моя любовь к природе прошла через пару лет, тоже на даче и тоже с птенцом. Ко мне с ревом прибежал соседский мальчик, давился слезами и все никак не мог мне объяснить, что произошло. Я побежал за ним. То, что я увидел у них на дорожке, ведущей к крыльцу, действительно было не для детского глаза. Из гнезда упал птенец, но неудачно, рядом с муравейником, и он весь был облеплен муравьями, корчился беззвучно, и я растерялся, не зная, что делать. Спасти его было уже невозможно, но и просто стоять и смотреть на его мучения я тоже не мог.

Ты знаешь, Сашенька, мне кажется в ту минуту я по-настоящему начал взрослеть. Я понял, что должен найти в себе мужество сделать добро. А добром в эту минуту будет поскорее прекратить эти мучения. Я взял лопату, сказал мальчишке идти в дом, сам подошел к птенцу, превратившемуся в живой черный муравьиный комочек и разрезал его лезвием лопаты пополам. Обе половинки продолжали корчиться – или

мне так показалось из-за муравьев. Я отнес эти муравьиные кучки к забору и там закопал. А тот мальчик все видел из окна террасы, обиделся на меня и не мог мне это простить.

Еще Виктор Сергеевич мне нравился, потому что он умел привычные вещи сделать непривычными. Вот мы на уроке литературы смеялись над тем, как молодого Пушкина послали на саранчу, и он написал ядовитый отчет:

Саранча летела, летела
И села,
Сидела, сидела, все съела
И вновь улетела.

Ну, разве не смешно? А у Виктора Сергеевича все получилось совсем по-другому. Пушкин был чиновником для особых поручений, его, энергичного, смелого, послали в командировку по важному вопросу. Люди попали в беду, остались без средств к существованию, ждали от правительства помощи.

Мне кажется, мой учитель просто обиделся за такое высокомерное отношение к насекомым, которые для него были такими же важными, сложными и живыми, как мы сами.

В гимназии над ним все смеялись, даже другие учителя, и мне было от этого очень обидно. Но что я мог сделать?

Я мог только полюбить то, что любил он – растения, птиц. Потом, после его смерти, мое увлечение всеми этими голосеменными, новонепными и бескилевыми, конечно, прошло, но названия в памяти остались – и так здорово было не просто гулять по лесу, а знать – вот любистик, вот канупер, вот ятрышник, а там щирец. Идешь по тропинке, а вокруг крушина, дремлик, кислица, короставник! А вот курослеп, осот, горечавка! А птицы! Вон пеночка, там желна, а это олуша!

Ведь это так здорово – идти по тропинке и знать, почему иван-чай любит пепелища!

И от всего – удивительное ощущение жизни, которая никогда не кончится.

После его смерти я впервые по-настоящему задумался о своей.

Конечно, ты скажешь, что любой юноша испытывает эти приступы ужаса, эти припадки страха, и, конечно, ты права, все это само обычное. И я сам прекрасно все это понимал. Но мне от этого не становилось легче.

Мама часто рассказывала, как я, пятилетний, спросил испуганно, услышав, как взрослые говорили о чьей-то смерти: «Я тоже умру?» Она ответила: «Нет». И я успокоился.

В детстве, играя в войну пуговицами, я воображал себя ими на поле боя, но только настоящими, когда бежишь в атаку, кричишь «ура» - и падаешь, раскинув руки, убитым. Полежишь мгновение, потом вскакиваешь и бежишь дальше, как ни в чем не бывало, живой, жаждущий рукопашной схватки. Режь, бей, коли!

Однажды я так заигрался, что не заметил, что мама стояла в дверях и смотрела на меня. Она сказала:

- А ты знаешь, что у каждой убитой пуговицы тоже есть мама, которая ждет дома и плачет.

Я тогда не понял ее.

Помню, после смерти бабушки, я попробовал представить себя мертвым – лег на диван, сложив руки на груди, расслабил все мускулы, зажмурил глаза и попытался долго не дышать. На какое-то мгновение мне даже показалось, что я смог остановить стук сердца. И что? Я только почувствовал себя невероятно живым. Какая-то до того не осознанная сила во мне заставила меня дышать. Моей воли для нее вообще не существовало. К пониманию смерти я не приблизился тогда ни на йоту, но зато явно ощутил в себе, что такое жизнь. Это мое дыхание. Оно хозяин меня.

Тело свое я не любил и презирал, кажется, с той самой отроческой поры, когда вдруг осознал, что я – это не совсем оно, а оно – это совсем не я. Странно было, что на призывной комиссии во время медицинского осмотра снова, как когда-то маму в детстве, кого-то интересовал мой вес, рост, зубы, и аккуратно заносились на бумагу все эти цифры, не имеющие собственно ко мне никакого отношения. Зачем все это? Кому нужно?

Знаешь, отчего стало страшно в первый раз – мне было четырнадцать или пятнадцать – оттого, что вдруг пришло озарение: мое тело тянет меня в могилу. Каждый день, каждое мгновение. С каждым вдохом и каждым выдохом.

Разве не повод возненавидеть его уже только за одно это?

Помню, я лежал на своем диване и взгляд скользил по вскрытым внутренностям парохода на стене, и мне пришло в голову, что этот огромный корабль сразу бы утонул, если бы только почувствовал всю бездонную глубину под собой.

Мое тело почувствовало эту бездну.

И всякий раз находились новые поводы для ненависти. Вот пришла пора бриться. Кожа у меня, ты же знаешь, неровная, отвратительная – фурункулы, прыщи – бреюсь и все время режусь, кровь идет. Пробовал отпустить бороду – не растет, несчастье одно, а не борода. И вот помню, брился, порезался очередной раз, и меня парализовала мысль, что вот этот мерзкий кожаный мешок, набитый требухой, уже сейчас, в эту самую минуту, когда я прикладываю кусочек газетки к порезу, идет ко дну и утягивает меня с собой. И он будет тонуть все годы моей жизни, пока не утонет.

Все делалось невыносимым. Простые предметы, как сговорившись, твердили об одном: вот алтын – он будет, когда меня уже не будет, вот дверная ручка, за нее будут браться, вот сосулька за окном, она и через триста лет будет сосулькой сверкать и переливаться на солнце в мартовский полдень.

И зеркало на рассвете из безобидного предмета вдруг стало тем, чем оно было на самом деле – глоткой времени. Заглянешь в него всего через минуту – а оно уже эту минуту проглотило. И моей жизни на эту минуту стало меньше.

И еще угнетало, что все кругом так уверены в собственном существовании, а я сам себе иной раз кажусь нереальным и совсем не знаю себя. И если не уверен в себе, то как можно быть уверенным в остальном? Может, меня вообще нет. Может, меня кто-то придумал – как я придумывал человечков на корабле - и вот теперь мучит.

Я проваливался в черный омут без дна, я исчезал, переставал

существовать. Мне для существования нужны были доказательства. Их не было. Зеркало отражало что-то, но обо мне оно, как впрочем и я сам, не имело никакого представления. Оно могло только глотать все без разбора.

Я ничем не мог заниматься, все, за что брался – и что в обычное время развлекало, доставляло радость, те же книги – теперь не могло удержать меня на плаву, все покрывала, как жирным налетом, липкая бессмысленность.

И особенно раздражал слепой. Я лежу в своей комнатке, забившись в угол дивана, спрятавшись под подушку, и меня трясет мелкой дрожью от ужаса темноты и пустоты, а он, насвистывая, бодро шаркает по коридору, живет полной жизнью, которая, несмотря на слепоту, вовсе не кажется ему темной и пустой! Что он такое своими слепыми глазами видит, чего не вижу я? Какой такой невидимый мир?

Больше всего доставалось маме. Я запрუსь в комнате и не выхожу, не ем, ни с кем не разговариваю.

Говорить с мамой было, конечно, бесполезно. Она считала, что у меня свойственные возрасту *приступы*. Я слышал, как она объясняла про меня своей подруге:

- Вот приступ живописи прошел, теперь приступ смысла жизни. Обойдется! Хорошо хоть, что еще никакая недотрога его не охмурила! Они теперь, знаешь, какие!

Девушек я боялся ужасно. Не боялся, но стеснялся до паники. Однажды ехал в трамвае, а передо мной села одна с удивительными волосами – целый ушат каштановых волнистых волос. И такие пахучие! Она время от времени их подбирала ладонями с краев и снова забрасывала за плечи. И так захотелось до этих волос дотронуться! Я увидел, что никто не смотрит и потрогал их. Мне казалось, что незаметно. Но она заметила и насмешливо скосила на меня глаза. А я так смутился, что пулей вылетел из вагона.

После такого еще больше начинаешь себя презирать!

Сейчас смешно вспоминать, но мама так боялась за меня, что тайком обыскивала мои вещи – вдруг у меня яд припрятан или где-то достал револьвер?

Однажды слышу шепот за дверью, умоляет своего слепого:

- Павлуша, поговори с ним, пожалуйста, ты же мужчина, вы скорее поймете друг друга!

Шаркает, стучится.

Я в ответ кричу:

- Отстаньте все!

Возьмешь книжку какого-нибудь мудреца-отшельника в надежде найти если не ответ, то хотя бы правильно поставленный вопрос, а все мудрецы-отшельники хором призывают жить настоящим, радоваться минутному, преходящему.

Но это же надо еще уметь!

Как радоваться настоящему, если оно ненужно и никчемно? И от всего тошнит – от обоев, от потолка, от занавесок, от города за окном, от всего этого *не я*. Тошнит от самого себя, такого же *не я*, как и все остальное. Тошнит от куцега убогого прошлого, состоящего из глупостей и унижений. И особенно тошнит от будущего. Особенно от будущего – это ведь дорога в ту смрадную дырку в кладбищенской уборной.

А до этой дырки – зачем все? Что я сам выбрал? Плоть? Время? Место? Ничего я не выбирал, никуда меня не звали.

И вот когда становилось совсем плохо, когда действительно думал о том, что можно взять у слепого в ванной бритву, когда задышался от невозможности прожить еще вдох, а потом выдох, а потом снова вдох и еще раз выдох, кожу покрывала испарина, сердце болело, меня бил озноб – вдруг где-то в кончиках пальцев начиналась удивительная вибрация.

Откуда-то из глубины поднималось нестройное, но уверенное гудение.росло волной. Заставляло вскочить, бегать по комнате, отрывать с треском и клочьями створки окна, заклеенного на зиму, дышать улицей. Гудение нарастало, крепло, распирало. И наконец, необъяснимая сокрушительная волна, как горстью, подбирала меня с самого дна и выбрасывала на поверхность, к небу. Меня переполняли слова.

Сашенька, это нельзя объяснить, это можно только пережить.

Страх растворялся, улетучивался. Исчезнувший мир возвращался в себя. Невидимое становилось видимым.

Все это *не я* начинало отзываться, гудеть в ответ, признавать меня своим. Ты ведь понимаешь, о чем я? Все вокруг делалось моим, радостным, съедобным! Хотелось ощупать, внюхать в себя, попробовать на язык и обои, и потолок, и занавески, и город за окном! *Не я* делалось мной.

В те минуты я только и жил. Оглядывался кругом и не понимал, как без этого могут обходиться другие. Разве можно без этого жить?

А потом слова уходили, гудение исчезало, и снова начинались приступы пустоты, настоящие припадки – меня знобило, трясло, я валялся днями на своем диване и не выходил никуда – не мог себе объяснить: зачем нужно куда-то выходить? Кому нужно выходить? Что такое - выходить? Что такое - я? Что такое – что?

И самое страшное – а вдруг слова больше не придут?

В какой-то момент я остро ощутил связь: мерзлую вселенскую пустоту, из которой я не могу выкарабкаться, может заполнить только то чудесное гудение, шелест, рокот, прибой слов. Получалось, что ежеминутное, преходящее становится радостным и осмысленным только тогда, когда оно проходит сквозь слова. А без этого та радость от настоящего, к которой призывали меня мудрецы, просто невозможна. Все настоящее ничтожно, никчемно, если оно не ведет к словам и если слова не ведут к нему. Только слова как-то оправдывают существование сущего, придают смысл минутному, делают ненастоящее - настоящим, меня - мной.

Понимаешь, Сашенька, я жил в какой-то отчужденности от жизни. Между мной и миром оградой выросли буквы. На происходившее со мной я мог смотреть только с точки зрения слов – могу я это взять с собой туда, на страницу, или нет. Я знал теперь, что ответить давно сгнившим мудрецам: мимолетное обретает смысл, если поймать его на лету. Где вы, мудрецы, ах? Где видимый вами мир? Где ваше мимолетное? Не знаете? А я знаю.

Казалось, что мне открылась истина. Я вдруг почувствовал себя сильным. Не просто сильным, а всесильным. Да, Сашка, смейся надо мной – я ощутил себя всемогущим. Мне открылось то, что было закрыто

для незнающих. Мне открылась сила слова. По крайней мере, мне тогда так казалось. Через меня замкнулась очень важная цепь, может быть, самая важная, которая шла от того реального человека, пусть потливого, с дурным запахом изо рта, левшой, правшой, мучимого изжогой, неважно, но такого же реального, как ты и я, который написал когда-то: «В начале было слово». И вот слова его остались, а он - в них, они стали его телом. И это единственное реальное бессмертие. Другого не бывает. Все остальное - там, в яме с кладбищенскими испражнениями.

Через слова протянулось от того человека ко мне то, что сильнее и жизни, и смерти, особенно, если понять, что это одно и то же.

Представляешь, с каким удивлением я смотрел на окружающих. Как они могут быть? Почему они, не будучи подвешены на этой цепочке над смертью, не падают? Что их держит?

Для меня было очевидно, что древнейшее правешество – чернила.

Златоусты всех времен и народов уверяли, что письмо не знает смерти, и я им верил – ведь это единственное средство общения мертвых, живых и еще не родившихся.

Я был убежден, что мои слова – это то, что останется после того, как все сегодняшнее, мимолетное сбросят в выгребную яму на бабушкином кладбище, и потому написанное мной - это самая важная, самая главная часть меня.

Я верил, что слова – это мое тело, когда меня нет.

Наверно, нельзя так любить слова. Я любил их до одури. А они за моей спиной перемигивались.

Они надо мной смеялись!

Чем больше я перекладывал себя в слова, тем очевиднее становилось бессилие что-то словами выразить. Вернее так – слова могут создать что-то свое, но ты не можешь стать словами. Слова – обманщики. Обещают взять с собой в плавание, и потом уходят тайком на всех парусах, а ты остался на берегу.

А главное – настоящее ни в какие слова не влезает. От настоящего – немеешь. Все, что в жизни происходит важного – выше слов.

В какой-то момент приходит понимание, что если то, что ты пережил, может быть передано словами, это значит, что ты ничего не пережил.

Я наверно, очень путано все говорю, Сашенька, но все равно мне нужно выговориться. И знаю, что как бы я ни путался, ты меня поймешь.

Я про тщетность слов. Если не чувствовать тщетность слов, то, значит, ты ничего в словах не понимаешь. Я вдруг понял их тщетность.

Попробую объяснить это вот так: помнишь, я писал тебе, что когда-то на переменке, начитавшись, как средневековые шуты изводят своих сеньоров-недоумков каверзными вопросами, я попробовал посмеяться таким же образом над моим мучителем из старшего класса, а тот, не дослушав моей витиеватой фразы, привычно хлопнул меня по ушам. Так вот, златоусты, с их упованием на продление себя во времени, это такие же глупые начитанные мальчики, как я, пытающиеся всю свою жизнь заговорить витиеватыми разговорами смерть, а она, в конце концов, не дослушав, все равно хлопнет их по ушам.

Помнишь, я никак не мог убедить тебя, что любая книга – ложь, уже хотя бы потому, что в ней есть начало и конец. Нечестно поставить последнюю точку, написать слово конец – и не умереть. Мне казалось, что слова – это высшая истина. А оказалось – какой-то фокус,

мошенничество, ненастоящее, недостойное.

Я дал себе слово больше ничего не писать. Мне казалось, что это достойно.

Сашенька, и никто ведь не объяснит, пока в каком-нибудь неподходящем месте само вдруг не откроется, что на вопрос *кто я?* ответа не существует, потому что нельзя знать ответа на этот вопрос, можно только быть им.

Понимаешь, мне захотелось быть.

Я не был собой. Слова приходили – и я чувствовал себя сильным, но я не мог им сказать – приходите! И они оставляли меня пустым, ничемным, использованным, выбрасывали на помойку.

Я ненавидел себя слабого и хотел быть сильным, но каким мне быть – за меня решали слова.

Сашенька, пойми, я больше так не мог! Ты все время думала, что дело в тебе – нет!

Я должен был освободиться от них. Почувствовать себя свободным. Живым просто так. Я должен был доказать, что существую сам по себе, без слов. Мне нужны были доказательства моего бытия.

Я сжег все написанное – и не жалел об этом ни минуты. Ты ругала меня, но напрасно. Родная, не ругай меня, пожалуйста! Мне нужно было измениться, стать другим, понять то, что понимают все, кроме меня, и увидеть то, что видит каждый слепой!

Мне не дано умереть и родиться другим – у меня есть только эта жизнь. И я должен успеть стать настоящим.

И знаешь, что странно – те тетради давно превратились в пепел, но себя того, прошлого, я начинаю сжигать только здесь и сейчас.

Ты знаешь, это ведь я слепой был. Видел слова, а не сквозь слова. Это как смотреть на оконное стекло, а не на улицу. Все сущее и мимолетное отражает свет. Этот свет проходит через слова, как через стекло. Слова существуют, чтобы пропускать через себя свет.

Ты улыбнешься: конечно, вылитый я – дал слово ничего больше никогда не писать, а теперь думаю, что когда вернусь, может быть, напишу книгу. А может и не напишу. Неважно.

То что я сейчас испытываю – намного важнее сотен и тысяч слов. Скажи, как можно передать словами эту готовность к жизни, которая меня переполняет?

Сашенька моя! Еще никогда я не чувствовал себя таким живым!

Выглянул на минуту – лунная ночь, небо яркое, звездное и очень похожее на счастье. Прошелся, потирая уставшие пальцы.

Изумительная ночь. Такая луна – читать можно. Блеснула на штыках. Палатки светятся лунным светом.

Тишина замечательная, ни звука.

Нет, отовсюду звуки, но такие мирные, чудесные – лошадь цокнула, храп из соседней палатки, в лазарете кто-то зевнул, цикады на тополях стрекочут.

Стою и вглядываюсь в Млечный путь. Теперь всегда сразу вижу, что он делит мироздание наискосок.

Стою под этим мирозданием, дышу и думаю: вот, просто луна, оказывается, может сделать человека счастливым. А я столько лет искал доказательств собственного бытия!

Какой я невозможный дурак, Сашка!

К черту луну! К черту доказательства!

Сашка моя родная! Какие еще нужны доказательства моего бытия, если я счастлив из-за того, что ты есть, и любишь меня, и читаешь сейчас эти строчки!

Знаю, что написанное письмо все равно как-то дойдет до тебя, а ненаписанное - исчезнет бесследно. Вот и пишу тебе, Сашенька моя!
